



Петр Сойфер

Что остается

Петр Сойфер

**Что остается**

«Автор»

2026

## **Сойфер П.**

Что остается / П. Сойфер — «Автор», 2026

Семь человек. Семь потерь. Семь способов жить дальше. Вирджиния разбирает архив мужа и находит там незнакомца. Джереми и Паула делят пустой дом — и впервые говорят правду. Вадим отказывается от покаянного видео и начинает учить французский с нуля. Хлоя любит мужа, который перестаёт её узнавать. Ханс и Эльза ищут колыбель, которую он делал тайно три года. Кристина пишет на пуантах слово «ОТПУСКАЮ» и отдаёт их приемнице. Маттео находит в молитвеннике духовного отца двойное дно — и чужое преступление. Физическая смерть. Развод. Эмиграция. Альцгеймер. Бездетность. Потеря профессии. Крах мировоззрения. Что остаётся, когда отпускаешь то, что держал? Оказывается — больше, чем казалось в момент потери.

© Сойфер П., 2026

© Автор, 2026

# Петр Сойфер

## Что остается

Доктор Сойфер Пётр

### ЧТО ОСТАЁТСЯ

*Сборник повестей*

*«Дерево отпускает листья не потому что умирает.  
Оно отпускает их, чтобы жить дальше».*

*Доктор Пётр Сойфер*

### ПРОЛОГ

Мы все однажды стоим перед закрытой дверью.

Не той, что впереди, — той, что только что захлопнулась за спиной. И в этой секунде тишины, пока рука помнит тепло ручки, а нога ещё не сделала первого шага, мы думаем одно: как жить дальше с тем, чего больше нет.

Нет человека. Нет дома. Нет имени. Нет тела, которое слушалось. Нет веры, которая держала. Нет детей, которых ждали и не дождались.

Горе не выбирает форму. Оно приходит как туман, как дождь, как полярная ночь, как сицилийский полдень, слепящий до белизны. Оно приходит в архивных папках и пустых комнатах, в колыбелях и партитурах, в молитвенниках с двойным дном.

Но под любым горем — один вопрос, который задают все: что останется, когда я отпущу?

Эта книга — семь ответов. Все они разные. Все они — правда.

*Повесть первая*

### Живой покойник

#### Глава 1. Туман

Туман в Беркли приходит с залива ещё до рассвета и остаётся до полудня, иногда дольше — он не рассеивается, а просто истончается, становится прозрачнее, пока не превращается в обычный калифорнийский свет, который местные принимают за солнце, хотя солнца за ним почти не видно. Вирджиния знала этот туман с первого дня, когда приехала в Беркли из Огайо поступать в аспирантуру, — он показался ей тогда неуместным, почти оскорбительным для Калифорнии, которую она представляла себе по открыткам: пальмы, океан, тот обязательный яркий свет, который обещают путеводители. Но потом она привыкла, и туман стал для неё чем-то успокоительным, домашним, как запах старых книг или звук кофемолки в шесть утра.

Сейчас было начало восьмого, туман стоял плотной стеной за окном кабинета, и Вирджиния сидела за столом Роналда, не двигаясь, держа в руках кружку с давно остывшим кофе. Прошёл месяц. Тридцать один день, если считать точно, как считал бы Роналд, — он всегда предпочитал точность любому округлению, говорил, что приближение допустимо в физике, но не в жизни. Вирджиния усмехнулась этому воспоминанию и тут же почувствовала привычный укол — та особенная боль, которая приходит не от потери как таковой, а от внезапной встречи с живой чертой человека, которого больше нет.

Роналд был педантом. Роналд был перфекционистом. Роналд не терпел, когда она говорила «около двух часов», и всегда уточнял: «Один час пятьдесят минут или два часа десять?»

Его кабинет остался таким, каким он его оставил в то утро — в то обычное октябрьское утро, когда он сел в машину, чтобы доехать до кампуса, и не доехал. Стопки распечаток на подоконнике. Три кружки с карандашами, расставленные в строгом порядке — простые, механические, красные с синим. Доска, занятая формулами, которые Вирджиния не понимала и никогда не понимала до конца, хотя занималась смежной областью и могла читать математический текст так же свободно, как художественный. Но у Роналда была особая манера записи, личный язык обозначений, который он никому не объяснял, и она привыкла воспринимать его доску как произведение искусства — что-то красивое и герметичное, как японская каллиграфия.

Университет дал ей три месяца. Декан факультета — Патрик Холлоуэй, маленький рыжеватый человек с постоянно виноватым выражением лица — лично приехал через неделю после похорон и сидел на кухне, держа чашку с чаем обеими руками, и объяснял, что архив профессора Вейсмюллера представляет исключительную научную ценность, что университет хотел бы его систематизировать и оцифровать, что они понимают всю деликатность ситуации и готовы нанять профессионального архивариуса, но если она сама — как человек, который знал Роналда лучше всех и при этом обладает необходимой научной подготовкой — если она сама захочет взяться за это, университет будет глубоко признателен. И оплатит её труд, разумеется.

Она согласилась немедленно, не раздумывая, и Холлоуэй, кажется, был удивлён этой готовностью, ожидал сопротивления или хотя бы паузы. Но Вирджиния понимала то, чего не мог понять Холлоуэй: ей нужна была причина входить в этот кабинет. Причина прикасаться к его вещам, перебирать его бумаги, дышать воздухом, который всё ещё казался ей его воздухом, хотя она знала, что это абсурд, что воздух давно сменился, что молекулы не хранят ничего, Джинни. Это не их функция.

Она поставила кружку на стол и посмотрела на доску.

Формулы стояли там уже месяц, и никто их не стирал. Она не могла стереть их — это казалось ей каким-то окончательным действием, более окончательным, чем похороны, где всё происходило в таком оглушительном тумане горя, что она почти ничего не запомнила: лица, чёрные пальто, чьи-то руки, сжимающие её руки, слова соблезнования, которые все говорили одно и то же разными голосами. А доска стояла здесь, конкретная и молчаливая, и последнее уравнение в правом нижнем углу было недописано — Роналд поставил знак равенства и остановился, оставив правую часть пустой. Вирджиния долго смотрела на эту пустоту и думала, знал ли он ответ, просто не успел записать, или ещё искал его в то утро, когда сел в машину.

Она встала, подошла к окну и посмотрела на туман.

За стеклом не было ничего, кроме белого. Дом стоял на холмах над городом, и в ясные дни отсюда был виден залив, мост, далёкий силуэт Сан-Франциско — Роналд любил этот вид и выбрал этот дом именно из-за него, хотя дом был дорогим и неудобной формы, с лестницами везде и кухней в полуподвале. Вирджиния тогда предпочла бы что-нибудь попроще, поближе к кампусу, но Роналд сказал: человек должен видеть горизонт каждое утро, это регулирует масштаб мышления. Она не спорила. Она почти никогда не спорила с Роналдом — не потому что боялась или не имела собственного мнения, а потому что в его присутствии её мнения как-то сами собой теряли напор, становились тише, уступчивее. Она думала, что это любовь. Теперь она не была уверена, как это называется.

Сегодня она должна была начать работу с архивом. Холлоуэй прислал ей список: сначала академические рукописи и незавершённые статьи, потом переписка с коллегами, потом личные заметки — в последнюю очередь, с пометкой «по усмотрению вдовы». Она открыла первый ящик стола и увидела аккуратные стопки папок, подписанных роналдовским почерком — мелким, почти печатным, без единой пометки. Он писал так же, как думал: без черновиков, сразу набело.

Вирджиния взяла верхнюю папку, села обратно в его кресло и открыла её.

Туман за окном начал медленно светлеть.

## **Глава 2. Архив**

Работа оказалась одновременно проще и тяжелее, чем она ожидала. Проще — потому что Роналд был человеком системы, и его архив отражал эту системность с почти болезненной последовательностью: каждая папка подписана, каждый документ датирован, черновики отделены от финальных версий, переписка разложена по годам и корреспондентам. Вирджиния, привыкшая к собственному творческому беспорядку — стопкам книг с торчащими закладками, листкам с пометками, приклеенным куда попало, — смотрела на этот архив с невольным восхищением, которое тут же сменялось чем-то похожим на раздражение. Даже в смерти Роналд был образцовым. Даже его бумаги не нуждались в том, чтобы их спасали.

Тяжелее — потому что каждая папка была живой. Не в метафорическом смысле, а в самом буквальном: его почерк на обложках, его система сокращений, его привычка подчёркивать ключевые места не карандашом, а ногтем, так что на полях оставались едва заметные вмятины — всё это было присутствием, рассыпанным по бумаге. Она брала очередной лист и чувствовала, как пальцы его держали, как глаза по нему скользили. Это было невыносимо и одновременно необходимо, как возвращение языка к больному зубу — знаешь, что не нужно, и всё равно.

Первые три дня она работала методично, почти механически, занося данные в таблицу, которую составила для университета: название, дата, степень завершённости, рекомендации по публикации. Незавершённых статей оказалось семь — все на разных стадиях, некоторые доведены до предпоследнего абзаца и брошены, словно Роналд потерял к ним интерес в последний момент. Это было неожиданно: она думала, что он доводит всё до конца. Он всегда производил впечатление человека, который доводит всё до конца.

На четвёртый день она добралась до папки с пометкой «Переписка. Личное. 2019–2023» и остановилась.

Холлоуэй написал «по усмотрению вдовы». Технически она могла пропустить эту папку, передать её университету нераспечатанной или вообще оставить себе — никто не проверял, никто не контролировал. Но она открыла её. Не из любопытства — или не только из него. Из того же импульса, который заставлял её каждое утро садиться в его кресло, а не в своё собственное, стоявшее у противоположной стены: желание быть ближе к тому, что от него осталось.

Переписка была в основном профессиональной — с редакторами журналов, с коллегами из Массачусетского технологического, из Цюриха, из Токио. Роналд писал по-английски всегда одинаково: точно, сухо, без лишних слов, без светских формул вроде «надеюсь, у вас всё хорошо». Она читала эти письма и слышала его голос — тот голос, который он использовал на факультете, не домашний. Домашний был другим: чуть мягче, с иронией, с редкими вспышками неожиданной нежности, которые он никогда не повторял, словно боялся, что повторение их обесценит.

Письма Томасу Бреннану лежали в самом конце папки — отдельно, скреплённые резинкой.

Томас Бреннан был его другом со времён аспирантуры в Принстоне — единственным человеком, которого Роналд называл другом без оговорок, хотя виделись они редко: Томас преподавал в Эдинбурге и приезжал раз в два года, иногда реже. Вирджиния помнила его — высокий, немного рассеянный, с шотландским акцентом, который не исчез за двадцать лет жизни в академической среде. На её свадьбе с Роналдом Томас был свидетелем и произнёс тост, который она запомнила дословно: «Роналд всю жизнь искал задачу, достойную его ума. Кажется, он наконец её нашёл». Все засмеялись, и она тоже засмеялась, решив, что это комплимент.

Она сняла резинку и взяла первое письмо.

Дата — март 2021 года. Они с Роналдом были женаты уже два года.

Письмо начиналось без предисловий, как все его письма, — с середины мысли, словно продолжение разговора, начатого раньше: «Том, ты спрашивал, как у нас дела. Дела у нас хорошо, если смотреть снаружи. Джинни блестящая, ты знаешь. Иногда я думаю, что она умнее меня в тех областях, где я предпочитаю считать себя непревзойдённым, — но это между нами. Проблема в другом. Она смотрит на меня так, Том. Я не знаю, как тебе это объяснить иначе. Как будто я — доказательство теоремы, которую она сформулировала ещё до того, как мы встретились, и теперь каждый день убеждается, что теорема верна. Это лестно первые полгода. Потом начинает давить».

Вирджиния остановилась.

Она перечитала абзац. Потом ещё раз. Потом положила лист на стол и посмотрела в окно — туман к этому времени уже разошёлся, и был виден склон холма с рыжей осенней травой и далёкая полоска залива, серебристая, почти белая на осеннем свете. Она смотрела на эту полоску долго, не думая ни о чём конкретном, просто давая словам осесть.

Давить.

Она взяла следующее письмо. Ноябрь 2021-го.

«Том, помнишь, ты говорил, что любовь — это когда человек видит тебя настоящим? Я думал об этом. Джинни видит меня настоящим, но её настоящий — это не я. Это конструкция, которую она выстроила с большим талантом и искренней любовью, но которая имеет ко мне примерно такое же отношение, как портрет к человеку. Портрет может быть прекрасен. Портрет может быть точен в деталях. Но портрет не дышит».

Она отложила письмо и долго сидела неподвижно.

За окном по склону холма шла женщина с собакой — большой, рыжей, похожей на лису. Женщина что-то говорила собаке, та оглядывалась на неё на ходу, и в этом простом движении — оглянуться на того, кто рядом — было что-то такое обыденное и такое невозможное одновременно, что Вирджиния почувствовала, как у неё перехватывает горло.

Она не плакала. Слезы не приходили — они ушли куда-то в первые дни после аварии и с тех пор появлялись редко, в самые неожиданные моменты: однажды в супермаркете, увидев его любимый сорт кофе, один раз ночью от приснившегося смеха, которого она не могла вспомнить утром. Сейчас было что-то другое — не горе, а что-то более острое и более трезвое, похожее на то чувство, когда долго смотришь на математическую запись и вдруг понимаешь, что где-то в середине допустил ошибку, и вся конструкция, которую ты считал верной, держится на этой ошибке.

Она взяла следующее письмо.

### **Глава 3. Блокноты**

Блокноты она нашла не сразу.

Они лежали не в ящиках стола и не на полках — там, где она искала бы их в первую очередь, — а в нижнем отделении книжного шкафа, за полным собранием сочинений Пуанкаре в тёмно-синих переплётках, которое Роналд никогда не читал, но держал на видном месте из какого-то академического суеверия. Она наткнулась на них случайно, на второй неделе работы, когда решила сдвинуть тома, чтобы протереть полку, — и за Пуанкаре обнаружила семь одинаковых молескиновых блокнотов, чёрных, потрёпанных в разной степени, сложенных аккуратной стопкой. На каждом карандашом была написана дата — год и месяц начала записей.

Она постояла перед ними несколько секунд, не прикасаясь.

Она знала о блокнотах — то есть знала, что Роналд иногда пишет что-то от руки, что-то отдельное от рабочих заметок и академических черновиков. Однажды, в первый год их брака, она застала его за таким блокнотом — он сидел в кресле у окна, писал быстро, не замечая её, и когда она подошла и положила руку ему на плечо, он закрыл блокнот с движением, которое она тогда не успела осмыслить, но которое теперь вспомнила отчётливо: не резко, не демонстративно, а просто — закрыл, отложил в сторону, повернулся к ней с улыбкой. Она не спросила, решив, что это рабочее, во что не нужно вмешиваться. Роналд ценил пространство для

мысли — она это уважала и никогда не задавала лишних вопросов. Считала это признаком зрелых отношений.

Теперь она взяла верхний блокнот — самый потрепанный, датированный 2018 годом, годом их знакомства — и открыла его. Листала медленно, почти осторожно.

Почерк внутри был другим. Не тот аккуратный, почти печатный почерк, которым были подписаны папки и написаны письма, — здесь буквы наклонялись вправо, теснились друг к другу, иногда прерывались на полуслове и начинались заново с новой строки. Это был почерк человека, который думает быстрее, чем успевает записать, и не останавливается, чтобы исправить. Роналд, которого она не знала.

Первые страницы были математическими — уравнения, схемы, стрелки, пометки на полях, иногда короткие фразы вроде «здесь что-то есть» или «проверить через симметрию». Она листала их быстро, не вникая, пока не наткнулась на запись без формул — просто текст, датированный сентябрём 2018 года, за три месяца до их свадьбы.

«Сегодня Джинни защитила первую главу диссертации. Комитет был впечатлён. Я был впечатлён — хотя я уже давно понял, что она думает иначе, чем большинство людей в нашей области: не от частного к общему, а как-то сразу на нескольких уровнях одновременно, как будто у неё в голове несколько параллельных потоков, которые она удерживает без видимого усилия. Она не осознаёт этого. Это делает её одновременно блестящей и уязвимой — она не знает цену тому, что делает легко».

Вирджиния остановилась.

Перечитала.

Роналд никогда не говорил ей ничего подобного. Он хвалил её работу сдержанно, в той манере, которая у него была для всего хорошего: одна фраза, без развития, словно похвала — это данность, которую не нужно объяснять. Она всегда принимала эту сдержанность как должное, как часть его стиля. Но здесь, в блокноте, который никто не должен был читать, он писал развёрнуто, он писал с восхищением, которое не умещалось в одну фразу.

Она листала дальше.

Записи перемежались — математика, наблюдения, фрагменты мыслей о работе. Иногда попадались заметки о прочитанных книгах, иногда о разговорах с коллегами. Она появлялась в блокноте регулярно — не каждый день, но достаточно часто, чтобы понять: он думал о ней, когда был один, и то, что он думал, не совпадало с тем, что он говорил вслух.

Блокнот 2019 года — первый год брака.

«Мы живём хорошо. Это не ирония — мы действительно живём хорошо, и я это ценю. Но иногда ночью я лежу и думаю о том, что значит быть безупречным для человека, которого любишь. Джинни выстроила меня в своём сознании с такой точностью и такой любовью, что разрушить эту конструкцию было бы жестокостью. Я не хочу быть жестоким. Поэтому я продолжаю быть тем, кем она меня видит. Иногда я забываю, кем я был до того, как она меня увидела».

Вирджиния положила блокнот на колени и посмотрела на доску с формулами.

Недописанное уравнение в правом нижнем углу смотрело на неё пустой правой частью. Она впервые подумала о том, что, может быть, он знал ответ, но намеренно не записал его — оставил пространство для чего-то, что ещё не сформулировалось.

Она взяла блокнот 2022 года — предпоследний.

Здесь записей о ней было меньше, математики больше, и среди уравнений она наткнулась на страницу, которая была написана явно в состоянии сильного возбуждения — почерк совсем разъехался, слова налезали друг на друга, некоторые были подчёркнуты дважды.

«Том прав. Том говорит это уже два года, и я каждый раз нахожу причины не слышать, но сегодня ночью я не сплю и понимаю, что он прав: я не могу так жить бесконечно. Не потому что Джинни плохой человек — она замечательный человек, она, возможно, лучший человек, которого я знаю, и я люблю её, это правда, я люблю её. Но любовь — это не всегда достаточное основание. Иногда любви достаточно для того, чтобы причинять друг другу боль с самыми лучшими намерениями. Я написал в Принстон. Предварительно. Ничего не решено».

Написал в Принстон.

Она закрыла блокнот.

За окном было совсем светло — туман окончательно ушёл, и залив блестел на солнце, синий и равнодушный, как всегда, когда погода слишком хороша для того, что происходит внутри. Она сидела на полу у книжного шкафа, прислонившись спиной к его боковой стенке, и чувствовала под лопатками твёрдое дерево — конкретное, настоящее, единственное, в чём она сейчас была уверена.

Принстон.

Она вспомнила разговор — примерно полтора года назад, весенним вечером, они ужинали на террасе, и Роналд сказал что-то о том, что Принстон предлагал ему позицию несколько лет назад, ещё до их знакомства, и он отказался, потому что Беркли его устраивал. Он сказал это вскользь, между делом, и она не придала этому значения. Она даже, кажется, сказала что-то вроде «хорошо, что ты остался» — и он улыбнулся и налил ей вина, и они говорили о чём-то другом.

Хорошо, что ты остался.

Она взяла последний блокнот — 2023 год, тот самый год, когда он погиб в октябре.

Записи здесь были короче, суше, больше математики и меньше рефлексии — как будто он принял какое-то решение и перестал нуждаться в том, чтобы его обдумывать на бумаге. Она листала страницу за страницей, почти механически, пока не дошла до записи от сентября — за месяц до аварии.

Там было только две строчки.

«Документы в Принстон отправлены. Сказать Джинни — к Рождеству».

Вирджиния долго смотрела на эти две строчки.

Потом встала с пола — медленно, держась за шкаф — и подошла к окну. Внизу, на склоне холма, никого не было. Залив блестел. Туман не вернётся до завтрашнего утра.

Она думала о том, каким было бы то рождественское утро — как он сидел бы напротив неё за столом, как держал бы чашку обеими руками, как искал бы слова. Она думала о том, что она бы ответила — и не могла придумать ответа, потому что не знала, кем была бы та Вирджиния, которая это услышала бы. Та Вирджиния, которая существовала до блокнотов, знала всё о Роналде и ничего о себе. Та, что сидела сейчас на полу его кабинета, знала о нём немного больше правды — и чувствовала, как эта правда медленно меняет форму пространства вокруг.

Она вернулась к шкафу, собрала все семь блокнотов и сложила их на стол — рядом с папками, рядом с кружками с карандашами, рядом с остывшим кофе. Потом взяла чистый лист бумаги и ручку и написала сверху одно слово: «Принстон».

Просто чтобы оно существовало на бумаге, а не только в голове.

#### **Глава 4. Ярость**

Ярость пришла не сразу.

Сначала был ещё один день работы — механической, почти сомнамбулической, когда она раскладывала папки, заполняла таблицу, отвечала на письма Холлоуэя короткими профессиональными фразами, которые ничего не выражали и ни к чему не обязывали. Она работала так, как работают люди после сильного удара — не потому что работа важна, а потому что движение рук создаёт иллюзию продолжения жизни, и эта иллюзия иногда бывает необходима. Блокноты лежали на столе стопкой, и она не открывала их — просто знала, что они там, и этого было достаточно, чтобы всё изменилось.

Ярость пришла на третий день, утром, когда она варила кофе.

Она стояла у плиты и смотрела на турку, и в какой-то момент поняла, что уже несколько минут держит в голове одну и ту же мысль, которую до этого не формулировала прямо: он собирался уехать. Не в командировку, не на конференцию — уехать, перевезти жизнь в другой город, в другой университет, к другим людям, и сказать ей об этом к Рождеству, в промежутке между подарками и праздничным завтраком, как будто это было что-то, что можно сообщить между делом.

Кофе убежал.

Она сняла турку с огня — слишком поздно, коричневая пена уже растеклась по конфорке — и почувствовала, как что-то в ней, державшееся последний месяц на каком-то внутреннем усилии, которое она не осознавала как усилие, вдруг отпускает. Не мягко, не постепенно — а резко, как лопается натянутая струна.

Она поставила турку в раковину и пошла в кабинет.

Она не понимала, что собирается делать, пока не оказалась перед доской. Роналдова доска с роналдовыми формулами, с роналдовым недописанным уравнением в правом нижнем углу — идеальная, герметичная, безупречная, как всё, что он делал. Она взяла тряпку, которая лежала на полочке под доской, и стёрла всё. Не аккуратно, не методично — широкими злыми движениями, от края до края, пока доска не стала равномерно серой, пока от формул не осталось ничего, кроме меловой пыли на руках и в воздухе.

Потом она села в его кресло и позволила себе думать.

Она думала о том, что почти три года он чувствовал то, что чувствовал, и не сказал ей ни слова. Три года он жил рядом с ней, ел с ней за одним столом, спал в одной постели, обсуждал её диссертацию, её методологию, её идеи — и одновременно писал другу письма о том, что задыхается. Задыхается. Как будто она была чем-то, от чего нужно было спасаться, а не человеком, с которым можно было поговорить.

Это было то, что жгло сильнее всего, — не сам факт Принстона, не то, что он хотел уйти, а то, что он выбрал молчание. Что три года его ближайшим собеседником был Томас Бреннан в Эдинбурге, а не она — человек, который спал рядом с ним каждую ночь. Она думала: неужели она была настолько невозможной собеседницей? Неужели в ней было что-то такое, что делало честный разговор невозможным?

И тут же, следом, другая мысль — острее и неудобнее: а она сама? Она сама когда-нибудь говорила ему правду о том, что чувствовала? Не о работе, не о быте — о нём, о них, о том, как она на самом деле жила внутри этого брака?

Она попыталась вспомнить и не смогла.

Она помнила бесчисленные разговоры о математике, о его статьях, о конференциях, о том, куда поехать в отпуск и стоит ли менять машину. Она помнила моменты близости — редкие, но настоящие, она была уверена, что настоящие. Но разговора о том, каково это — быть ею рядом с ним, каково это — любить человека, который никогда не ошибается, — такого разговора она не помнила. Потому что его не было.

Она встала и подошла к окну.

Туман был особенно плотным в это утро — такой, какой бывает в октябре, когда залив дышит теплее воздуха и разница температур создаёт эту белую взвесь, которая делает холмы Беркли похожими на акварель, размытую до потери очертаний. Вирджиния смотрела на туман и думала о том, что всё время их брака она жила в похожем состоянии — знала общие контуры, верила в очертания, но не проверяла детали. Она создала Роналда так же тщательно и так же слепо, как математик создаёт модель, которая описывает поведение системы, но не саму систему. Модель была прекрасна. Система оказалась сложнее.

Ярость не отступала, но менялась — из острой, направленной становилась шире, объёмнее, захватывала не только его, но и её саму, и их обоих вместе, и всю конструкцию, которую они выстроили с такой тщательностью и таким взаимным непониманием. Она злилась на него за молчание — и злилась на себя за то, что создала пространство, в котором оно казалось ему

единственным выходом. Это была неудобная мысль, и она не торопилась её отпускать, потому что чувствовала: в этой мысли есть что-то важное, что-то, что нельзя обойти стороной, если хочешь дойти до чего-то настоящего.

Она вернулась к столу и взяла блокнот 2019 года — тот, где он писал о портрете, который не дышит.

Перечитала запись медленно, слово за словом, и на этот раз читала её не как обвинение в свой адрес, а как признание в его — признание человека, который не умел или не решался сказать вслух то, что думал, и поэтому говорил бумаге. Она думала: он был трусом в этом смысле. Блестящий, честный, требовательный к себе человек — и трус в самом простом, в разговоре с женой. Это было не злорадство — просто констатация, которая неожиданно сделала его более человеческим, чем всё, что она знала о нём раньше.

Потом она взяла блокнот 2018 года и перечитала запись о её диссертации.

«Она не осознаёт этого. Это делает её одновременно блестящей и уязвимой — она не знает цену тому, что делает легко».

Она сидела с этой фразой долго.

Потом встала, подошла к полке, где стояли её собственные папки с материалами диссертации, и достала первую главу. Свою первую главу, написанную три года назад, прочитанную Роналдом, прокомментированную им тремя словами: «Крепкое начало, Джинни». Она читала её сейчас и пыталась смотреть на неё его глазами — глазами человека, который видел в ней то, чего она сама не видела.

И постепенно, по мере чтения, ярость начала остывать.

Не исчезать — остывать, как остывает металл послековки: становится твёрже, обретает форму. Она читала свою главу и понимала, что он был прав — не в том, что молчал, не в том, что выбрал письма Томасу вместо разговора с ней, — но в наблюдении. Она действительно не знала цену тому, что делала легко. Она так долго смотрела на него снизу вверх, с тем восхищением, которое он называл удушающим, что перестала смотреть прямо — на себя, на свою работу, на то, чего стоила сама по себе, без него рядом.

Она отложила главу и взяла чистый лист.

Написала: «Что я знаю точно».

И под этим заголовком начала список — не торопясь, без черновика, сразу набело, как писал Роналд, — всё, в чём была уверена после трёх недель с его архивом, его письмами, его блокнотами. Список получился короткий, но каждый пункт был твёрдым, как те формулы на доске, которые она только что стёрла, — только эти она не собиралась стирать.

Она писала долго, пока за окном туман окончательно не истончился и холмы не обрели очертания, и залив не стал синим, и день не стал обычным калифорнийским днём — ясным, прохладным, с запахом эвкалипта, который всегда приносит ветер с холмов после тумана.

Потом она убрала лист в ящик стола — не в его ящик, а в свой, у противоположной стены — и пошла на кухню варить новый кофе.

## Глава 5. Формулы

Это началось случайно, как начинается всё важное.

Она разбирала последнюю из незавершённых статей — ту, что Роналд датировал маем 2023 года и которая называлась «К вопросу о топологических инвариантах в задачах оптимального транспорта» — и на третьей странице наткнулась на пометку, сделанную другими чернилами, другим нажимом. Не его почерк. Её почерк. Она узнала его мгновенно — этот чуть угловатый, торопливый почерк, который она сама считала некрасивым и всегда стеснялась на доске. Там было написано: «Ср. с леммой Громова — обобщение через категорию метрических пространств?» — и дата рядом: февраль 2022-го.

Она помнила этот разговор.

Они сидели здесь, в кабинете, поздним вечером — она листала его черновик, он стоял у доски, и она сказала что-то об обобщении, просто так, вслух, не как предложение, а как мысль, которая пришла и которую нужно было произнести, чтобы проверить, держится ли она в воздухе. Роналд обернулся, посмотрел на неё секунду — тем взглядом, который она привыкла читать как снисходительное внимание, — и сказал: «Запиши». Она записала на полях его черновика и забыла. Он не забыл.

Она перевернула страницу.

На четвёртой странице была разработана именно та идея — через категорию метрических пространств, с отсылкой к Громову, с доказательством, которое занимало полторы страницы убористого текста. Роналд нигде не указал, откуда пришла идея. Просто развил её, как развивают собственную мысль, органично, без разрывов.

Вирджиния отложила статью и посмотрела на потолок.

Она пыталась вспомнить, было ли это единственным подобным случаем, и понимала, что не было. Были другие вечера, другие разговоры, другие мысли, брошенные вслух и подхваченные им с той же естественностью, с которой он подхватывал собственные. Она не вела счёта, потому что не думала о его работе как о чём-то отдельном от их общей жизни. Его работа была частью воздуха, которым они дышали вместе, и казалось естественным, что этот воздух принадлежал ему, — так же как казалось естественным, что дом принадлежал ему, и вид из окна принадлежал ему, и репутация в университете принадлежала ему, а она была рядом, была частью его пространства, умной и любящей его частью.

Она встала и начала ходить по кабинету.

Это была не ярость — ярость была вчера, и она сделала своё дело, выжгла что-то, что нужно было выжечь. Это было что-то другое, более трезвое и более неудобное — что-то похожее на то чувство, когда долго смотришь на карту и вдруг понимаешь, что шёл не туда. Не потому что карта была неверной — просто читал её неправильно.

Она вернулась к столу и достала свою диссертацию — всю, все четыре главы, написанные за последние три года, плюс черновики пятой, которую она так и не закончила. Роналд читал каждую главу, комментировал, иногда предлагал правки — всегда точечные, всегда в сторону большей строгости, большей формальности. Она принимала эти правки без обсуждения. Она думала, что он помогает ей стать лучше.

Теперь она читала свои главы иначе.

Она читала их, пытаясь найти границу — где заканчивалась она и начинался он. Это оказалось труднее, чем она ожидала, потому что граница была размытой, проницаемой, как тот туман за окном, который не имеет чёткого края. Его правки вросли в её текст, его замечания изменили её аргументацию, а вопросы — брошенные вскользь, за ужином или в машине — повернули несколько ключевых идей в сторону, которую она приняла за собственную.

Но были и другие места.

Места, которых он не касался, — целые разделы, написанные до того, как она показывала ему черновик, или написанные заново после его комментариев, но в другую сторону, не туда, куда он предлагал. Места, где она настояла на своём — тихо, без конфликта, просто оставив так, как считала нужным. Эти места были другими по тону — менее формальными, более живыми, с той многоуровневостью, о которой он писал в блокноте: она думает иначе, чем большинство людей в нашей области.

Она откладывала страницу за страницей, и постепенно проступало что-то — не чёткая картина, но контур, достаточно ясный, чтобы его разглядеть. Контур того, кем она была как учёный, отдельно от него, без него, сама по себе. Контур оказался не таким маленьким, как она думала, и не таким размытым. Он имел свою форму.

Она взяла чистый лист и начала писать.

Не диссертацию — просто мысль, которая пришла несколько дней назад и которую она откладывала, потому что не была уверена, имеет ли право на неё без него рядом. Мысль о топологии горя — о том, что процесс утраты имеет свою геометрию, свои инварианты, свои точки, которые остаются неизменными при любых деформациях пространства. Она писала быстро, не останавливаясь, тем самым угловатым почерком, который считала некрасивым, и через полчаса у неё было две страницы — сырых, неотделанных, но живых, с той самой многоуровневостью, которую он видел в ней и которую она в себе не видела.

Потом она остановилась и перечитала написанное.

Это было её. Не его — её, без примесей, без его голоса на полях, без его взгляда через плечо. Просто она, думающая о том, что думает, тем способом, которым думает.

Она положила листы в папку и написала на обложке своим почерком: «Глава 5. Черновик». Потом подумала секунду и добавила дату — сегодняшнюю, не его. Это казалось важным: поставить дату, которая принадлежала только ей.

Она вернулась к незавершённой статье Роналда и продолжила её разбор — методично, внимательно, отмечая в таблице все места, где узнавала собственную интонацию, собственный

поворот мысли. Она делала это без злобы и без торжества, просто как работу — необходимую, честную работу по разграничению того, что принадлежало ему, и того, что принадлежало ей. Это разграничение не умаляло его — он был настоящим учёным, и большая часть того, что лежало в этих папках, было его, несомненно его. Но оно не умаляло и её.

К вечеру она закончила разбор статьи и закрыла папку.

За окном холмы порозовели — короткий калифорнийский закат, который длится минут двадцать и гаснет прежде, чем успеваешь к нему привыкнуть. Она смотрела на этот розовый свет и думала о том, что завтра нужно будет поехать на кладбище. Не потому что так положено, не потому что прошёл месяц или потому что она чувствовала к этому готовность — просто потому что пришло время. Потому что она наконец знала, что хочет там сказать и что хочет оттуда забрать.

Она выключила свет в кабинете и пошла на кухню.

Впервые за месяц она была голодна по-настоящему — не тем механическим голодом, который заставляет есть что попало в случайное время, а настоящим, живым голодом человека, у которого есть планы на завтра.

Она достала из холодильника всё, что там было, и начала готовить ужин.

## **Глава 6. Sunset View**

Кладбище называлось Sunset View, и это название всегда казалось ей немного абсурдным — не жестоким, просто американски-оптимистичным, с той характерной верой в эвфемизм, которая превращает смерть в вид на закат. Роналд однажды сказал, что выбрал именно это место, потому что отсюда в ясную погоду видно залив, — сказал это без пафоса, просто как факт, как выбирают квартиру с хорошим видом. Она тогда не стала развивать эту тему, как не развивала многие темы, которые казались ей слишком близкими к чему-то, о чём не хотелось говорить вслух.

Она приехала утром, когда туман ещё не ушёл.

Это было намеренно — она хотела приехать в туман, не в тот ясный калифорнийский день, когда всё вокруг само собой кажется разрешимым, а в этот, белый и плотный, когда мир сжимается до нескольких метров и всё лишнее исчезает. Она припарковала машину у ворот и пошла пешком по дорожке, которую помнила с похорон, — мимо старых дубов с тёмной влажной корой, мимо рядов одинаковых серых плит, мимо свежих цветов у одних могил и выцветших искусственных — у других.

Его плита была простой — тёмный гранит, имя, даты, ничего больше. Роналд не терпел излишеств ни в чём, и она выполнила это его требование даже здесь, хотя несколько человек с факультета деликатно намекали, что можно было бы добавить цитату. Она отказала. Имя и даты — это то, что есть у каждого человека, и этого достаточно.

Она остановилась перед плитой и поставила на землю сумку.

Внутри сумки лежал его блокнот — последний, 2023 года, тот, где было написано про Принстон. Она принесла именно его, не все семь и не какой-то другой, — именно этот, потому что именно в нём было то, что она хотела вернуть ему. Не отдать обратно, а вернуть так, как возвращают долг — признав, что он существовал, и закрыв счёт.

Она не знала, как начать говорить, поэтому начала с того, что просто стояла.

Туман был влажным и тихим, и где-то далеко, за деревьями, изредка слышался звук — машина на шоссе, птица, шорох чьих-то шагов по другой дорожке. Она стояла и смотрела на его имя, выбитое в граните — Роналд Вейсмюллер, 1968–2023, — и думала о том, что это имя больше не было для неё тем, чем было месяц назад. Месяц назад оно было именем Бога — или, точнее, именем человека, которого она превратила в Бога с такой тщательностью и такой любовью, что разница перестала иметь значение. Теперь это было имя человека. Просто человека — блестящего, сложного, трусливого в одном и храброго в другом, любившего её посвоему и не умевшего сказать ей об этом прямо.

Она достала блокнот из сумки.

— Я злилась на тебя, — сказала она вслух.

Голос прозвучал странно в тумане — не громко и не тихо, просто конкретно, как предмет, положенный на стол. Она не чувствовала себя глупо, разговаривая вслух, — она вообще не думала о том, как это выглядит со стороны, потому что никакой стороны не было, был только туман и она.

— Я злилась на тебя за молчание. За то, что три года ты говорил всё важное Томасу, а не мне. За Принстон. За то, что ты собирался сказать мне это к Рождеству, как будто это можно было сказать к Рождеству.

Она остановилась.

Где-то в ветвях дуба над ней завозилась птица — невидимая в тумане, просто звук, живой и случайный.

— И потом я злилась на себя. Потому что ты молчал не в пустоту. Ты молчал потому что я создала условия, в которых тебе было проще молчать. Я сделала тебя таким большим, что тебе некуда было быть маленьким. Это не оправдание для тебя. Но это правда про меня, и я не собираюсь её прятать.

Она опустила взгляд на блокнот в руках.

— Ты писал, что я умнее тебя в некоторых областях. Ты писал это другу, в блокноте, который прятал за Пуанкаре. Почему ты не мог сказать это мне? — она не ждала ответа и не нуждалась в нём, просто вопрос нужно было произнести вслух — хотя бы однажды. — Я бы не возгордилась. Я бы, наверное, не поверила. Вот в чём была настоящая проблема, Роналд. Я бы не поверила, потому что слишком долго смотрела на тебя снизу вверх, чтобы уметь смотреть прямо.

Туман чуть сдвинулся — не рассеялся, просто изменил плотность, и на секунду стала видна полоска залива внизу, серебристая, почти неотличимая от неба. Вирджиния смотрела на неё, пока она снова не исчезла в белом.

— Я нашла свои пометки в твоей статье. Февраль 2022-го — идея про Громова. Ты её развил, и она хорошая, эта статья хорошая, и большая её часть твоя. Но не вся. Я не говорю это, чтобы отнять у тебя что-то — просто хочу знать это сама. Хочу перестать думать, что всё, что было хорошего в нашей общей жизни, принадлежало тебе, а я просто была рядом.

Она присела на корточки и положила блокнот у основания плиты.

Не потому что думала, что это имеет какой-то мистический смысл, — просто потому что хотела, чтобы он был здесь, а не в его кабинете, не на его столе, не в её сумке. Это было его — его мысли, его страхи, его честность, которую он тратил на бумагу и не умел тратить на неё. Пусть остаётся здесь, рядом с ним.

Она выпрямилась и стояла ещё минуту, просто стояла, не говоря ничего.

Потом сказала — тише, чем всё предыдущее, почти себе:

— Ты был настоящим. Не тем, кем я тебя сделала, — настоящим. Со страхами, с Принстоном, с письмами Томасу. Я думаю, что настоящий мне бы понравился больше, если бы ты его показал. Но ты не показал, и теперь мне придётся с этим жить. Я справлюсь.

Она подняла сумку с земли.

На дне сумки лежало ещё кое-что — конверт с её письмом в приёмную комиссию Принстона. Она написала его вчера ночью, когда не могла спать, и перечитала утром, и решила отправить. Не потому что Принстон был её мечтой, не потому что она хотела занять его место — она написала туда, потому что там была сильная группа по геометрическому анализу, и потому что она три года откладывала любые мысли о том, куда могла бы пойти её карьера без него в центре. Конверт был просто конвертом с запросом информации — маленький шаг, но конкретный, и конкретность была сейчас важнее всего.

Она не положила конверт к плите. Она оставила его в сумке.

Это был её конверт, её шаг, её направление. Ему она принесла блокнот — то, что принадлежало ему. Себе она оставила то, что принадлежало ей.

Она пошла обратно по дорожке — мимо дубов, мимо плит, мимо выцветших цветов — туда, где за воротами стояла машина. Туман начинал светлеть, и дорожка впереди становилась длиннее с каждым шагом — не потому что она удлинялась, а потому что видимость росла, и то, что раньше исчезало в белом через десять метров, теперь тянулось дальше, и дальше, и дальше, открывая то, что всегда там было.

Она дошла до машины, села, завела двигатель.

Не поехала сразу — сидела минуту, держа руки на руле, и смотрела через лобовое стекло на ворота кладбища, на буквы «Sunset View» в чугунной арке. Потом подумала о том, что

Роналд был прав насчёт названия — это было хорошее название. Не потому что смерть похожа на закат, а потому что закат — это не конец дня, а момент, когда свет меняет угол и всё вокруг становится видно иначе — с тенями, которых не было в полдень, с глубиной, которой не замечаешь в полуденной плоскости.

Она включила передачу и выехала на дорогу.

## Глава 7. Диссертация

Дома она первым делом сняла его твидовый пиджак.

Он висел на спинке его кресла с того самого утра — того октябрьского утра, когда он ушёл в джемпере, потому что было не холодно, и пиджак остался, как остаются вещи, которые не берут с собой в короткую поездку. Она не трогала его месяц — не из суеверия и не из сентиментальности, просто он был там, и каждый раз, когда она садилась в кресло, она чувствовала его запах — тот особый запах твида и его одеколona и ещё чего-то неопределимого, что она всегда считала запахом его мышления, хотя понимала, что это абсурд, что мышление не пахнет.

Она сняла пиджак со спинки кресла и подержала его в руках.

Он оказался невесомым — легче, чем она помнила. Она поднесла его к лицу и вдохнула, и запах был там, но уже слабее, уже на границе исчезновения, уже больше воспоминание о запахе, чем сам запах. Она подумала о том, что через месяц его не будет совсем, и это не показалось ей катастрофой — просто фактом, таким же конкретным и нейтральным, как даты на гранитной плите.

Она отнесла пиджак в шкаф и повесила его там — не выбросила, не убрала в коробку, просто повесила среди других вещей, как вещь, которая принадлежит шкафу, а не пространству работы. Это казалось правильным разграничением.

Потом она вернулась в кабинет и села — не в его кресло, а в своё, у противоположной стены, которое за месяц работы с архивом почти не использовала. Своё кресло было менее удобным — спинка чуть короче, подлокотники деревянные, без обивки, она купила его на блошином рынке на первом году аспирантуры и никогда не меняла, потому что привыкла. Она села в него и почувствовала эту привычность — не уют, а что-то более точное, более телесное: ощущение собственных пропорций, собственного веса в собственном пространстве.

Она открыла ноутбук.

На экране был черновик пятой главы — те две страницы о топологии горя, написанные быстро и ещё не отделанные. Она перечитала их медленно, и они были те же, что вчера, — сырые, живые, с её интонацией, с её способом думать на нескольких уровнях одновременно. Она не стала их редактировать — просто оставила курсор в конце последней фразы и начала писать дальше.

Она писала долго.

Не торопилась и не гнала себя, не думала о том, правильно ли это направление или нужно ли согласовать с научным руководителем — у неё не было научного руководителя уже полтора года, с тех пор как куратор ушёл на пенсию и она перешла под неформальное наблюдение Роналда, которое никогда не оформлялось документально, потому что это был бы конфликт интересов, и они оба это понимали, и оба делали вид, что его консультации — это просто разговоры за ужином. Теперь у неё не было ни куратора, ни разговоров за ужином, и это означало, что она была совершенно свободна — свободна в том смысле, который поначалу кажется пустотой, а потом, если не торопиться, оказывается пространством.

Она писала о горе как о топологическом процессе — о том, что утрата не разрушает пространство, а деформирует его, и в этой деформации сохраняются инварианты, свойства, которые остаются неизменными при любом растяжении или сжатии. Она писала об этом на языке математики, но не только на нём — она позволила себе то, что Роналд всегда мягко вычёркивал из её черновиков: живые примеры, конкретные образы — всё то, что он называл отступлением от строгости, но что на самом деле было моментами, когда абстракция касается земли. Она писала о тумане, о том, как он меняет видимость, не меняя пространства. Она не писала о нём прямо, но он был там, в каждом примере, как фигура, которую не называют, но которая определяет геометрию текста.

Через три часа она остановилась.

Было начало второго, и за окном давно установился тот ровный калифорнийский полдень, который она раньше не любила — слишком нейтральный, без характера, без туманного утреннего драматизма. Сейчас он казался ей правильным: ровный свет, без теней, без лишних интерпретаций, просто видимость на максимальной дальности.

Она встала, потянулась и подошла к доске.

Доска была пустой — она стёрла её три дня назад, в первый день ярости, широкими злыми движениями. Серая поверхность без единой отметины. Она взяла мел из кружки и написала в центре доски одну формулу. Свою. Ту, которая пришла во время письма и которую она ещё не проверила, но которая казалась верной с той интуитивной уверенностью, которую она раньше не позволяла себе доверять, потому что он всегда говорил: интуиция требует доказательства.

Требует. Она напишет доказательство.

Но сначала она написала формулу — в центре доски, крупно, своим угловатым почерком, который считала некрасивым и который теперь казался ей просто её почерком, не красивым и не некрасивым, а конкретным, как всё, что принадлежит только тебе.

Она отступила на шаг и посмотрела на доску.

Формула стояла в пустом пространстве чисто и отдельно — без его контекста вокруг, без его системы обозначений, без его комментариев на полях. Просто формула и доска, и окно с заливом за ней, синим и далёким и совершенно равнодушным к тому, что происходит в этой комнате. Вирджиния смотрела на формулу и думала о том, что это, возможно, первое, что она написала на этой доске за три года брака, — не дописала, не добавила к его тексту, а написала с нуля, от начала, сама.

Потом она вернулась к ноутбуку и открыла новый документ.

Назвала его просто: «Диссертация. Окончательная версия». Не «Глава 5», не «Черновик», не «К вопросу о» — просто то, чем это было: её работа, её название, её решение двигаться вперёд.

Она скопировала туда написанное за утро, потом открыла первую главу и начала читать её сначала — не редактировать пока, просто читать, как читают текст незнакомого автора, пытаюсь понять, кто этот человек и что он хочет сказать. Человек оказался интересным. Немного скованным в первых разделах — там, где были заметны его правки, его голос, накладывающийся на её, — но дальше текст открывался, становился свободнее, и в этой свободе была та самая многоуровневость, о которой он писал в блокноте и которую она сама в себе не видела.

Теперь видела.

Она читала и делала пометки — не его манерой, ногтем, а карандашом, своим, на полях распечатки, и пометки были вопросами к себе, не ответами. Где это можно развернуть? Где я остановилась раньше, чем следовало? Где я свернула не туда, потому что так было принято, а не потому что так было верно?

За окном солнце начало смещаться к западу, и тени в кабинете стали длиннее — те короткие, острые тени позднего калифорнийского дня, которые появляются часа за три до заката и делают всё вокруг немного скульптурным, объёмным, чётко очерченным. Вирджиния работала в этом свете, не включая лампу, пока читать не стало трудно, и только тогда потянулась к выключателю.

Пальцы нашли его автоматически — она всегда делала это не глядя, рука сама знала, где выключатель. Маленькое телесное знание, встроенное в этот дом, в эту комнату, в три года жизни здесь. Такие знания остаются дольше всего — дольше слов, дольше воспоминаний о лице и голосе, дольше запаха твида, который уже слабеет в шкафу. Она зажгла лампу и вернулась к тексту.

Около шести она остановилась.

Не потому что устала и не потому что хотела есть — хотя и то, и другое было правдой, — а потому что почувствовала, что на сегодня достаточно. Не в смысле «больше не могу», а в том смысле, в котором говорят «достаточно» о хорошей еде или о хорошем разговоре: есть ещё место, но останавливаешься, пока всё ещё хорошо. Она закрыла ноутбук и положила руки на стол.

Кабинет был тем же и не тем же.

Его кресло стояло пустым, и пустота в нём была уже не зияющей, а просто фактической — кресло без человека, мебель. На доске была её формула. В шкафу висел его пиджак среди других вещей. На столе стояли три кружки с его карандашами — она не убрала их, но теперь использовала эти карандаши сама, и один из них лежал рядом с её распечаткой, исписанный её пометками до середины.

Она подумала, что завтра надо будет написать Томасу Бреннану.

Не о блокнотах и не о письмах — просто написать, сказать, что разбирает архив, что если у него есть воспоминания или материалы, которые могут быть важны для университета, она была бы благодарна. Написать нормально, как пишут взрослые люди, которые умеют отделять то, что узнали в чужих письмах, от того, что можно произнести вслух. Томас любил его. Это было настоящим, и это было не её дело судить.

Она встала и в последний раз посмотрела на доску.

Формула стояла там в свете лампы — белая на сером, её почерк, её мысль, её начало. За окном залив окрасился в тот розово-серый цвет, который бывает здесь между закатом и сумерками и длится совсем недолго — минут десять, не больше, — и в этом свете вода выглядела живой, подвижной, как будто дышала.

Вирджиния выключила лампу и вышла из кабинета.

В коридоре она остановилась у зеркала — небольшого, в деревянной раме, которое висело здесь всегда, сколько она себя помнила в этом доме. Посмотрела на себя. Она была бледнее обычного и чуть похудела за этот месяц, и под глазами были тени, и волосы она не красила с сентября, и у корней уже было заметно. Она смотрела на всё это спокойно, без желания немедленно исправить или скрыть — просто смотрела, как смотрят на ландшафт после долгой дороги: вот где я нахожусь, вот как это выглядит, это нормально.

Потом она пошла на кухню.

Она поставила воду, достала из шкафа пасту, из холодильника — то, что оставалось с вчерашнего ужина. Готовила без рецепта и без спешки, и пока вода закипала, написала на листке бумаги три строчки: «Написать Томасу. Позвонить Холлоуэю — архив почти готов. Утром — продолжить главу пять».

Три конкретных дела. Три точки на завтра.

Она прикрепила листок магнитом к холодильнику и посмотрела на него секунду, потом добавила четвёртую строчку: «Принстон — ответить, когда придёт ответ».

Вода закипела.

Она засыпала пасту и стояла у плиты, помешивая, и смотрела в окно над раковиной — в тёмный сад, в котором уже ничего не было видно, только отражение кухни в стекле: она сама, плита, жёлтый свет лампы, пар над кастрюлей. Она смотрела на это отражение — не на сад за ним, а на отражение, которое было конкретным и близким и её — и думала о том, что завтра утром снова придёт туман, и она снова сядет за стол, и формула на доске будет ждать своего доказательства.

Это было достаточно — пожалуй, именно столько и остаётся.

*Повесть вторая*

## Верные чужие

### Глава 1. Пустой дом

Джереми приехал на сорок минут раньше.

Он не планировал этого — выехал из съёмной квартиры в Белвью с расчётом на обычные пробки на мосту через Мерсер-Айленд, но пробок не было, и он оказался у дома в половине одиннадцатого, когда Паула должна была приехать в одиннадцать пятнадцать. Он сидел в машине на подъездной дорожке и смотрел на дом через лобовое стекло, по которому уже начинал сеяться мелкий сиэтловский дождь — не ливень, просто постоянная влажная взвесь, которая здесь называется дождём девять месяцев в году и которую местные давно перестали замечать.

Снаружи дом выглядел так же, как всегда: белые доски с серой отделкой, большие окна, три ступени на крыльцо, слева — куст рододендрона, который они посадили на второй год после переезда. Рододендрон отцвёл в мае и сейчас стоял просто зелёным, без украшений, и в этой неукрашенной зелени было что-то такое обыденное и такое неуместное одновременно, что Джереми почувствовал лёгкое головокружение — то особое головокружение, которое бывает, когда внешнее слишком явно не совпадает с внутренним.

Он вышел из машины.

Ключ был у него — последний раз он будет им пользоваться, завтра оба ключа нужно передать агенту по недвижимости. Он отпер дверь и вошёл в дом.

Внутри было пусто.

Мебельщики забрали всё три дня назад — они с Паулой разделили мебель заранее, по списку, без споров, с той деловой аккуратностью, которая установилась между ними в последние полгода и которая была, наверное, их лучшим совместным достижением: умение решать практические вопросы без крови. Его вещи уже стояли в белвьюской квартире, её — в новом месте в Фремонте, которое он не видел и не хотел видеть. Дом был очищен до стен и пола, и только сейчас, без мебели, без ковров, без картин — они сняли их на прошлой неделе и честно разделили, хотя большинство картин выбирала она, — стало видно, каким он был на самом деле.

Джереми стоял в гостиной и смотрел.

Он не был в пустом доме со времён детства — когда они с родителями переезжали, ему было восемь, и он помнил это ощущение: дом без вещей становится другим существом, не тем, в котором ты жил, а чем-то первичным и чуть пугающим, как скелет, из которого вынули всё мягкое. Здесь было то же самое — паркет, который он никогда особенно не замечал под ковром, оказался красивым, тёмным, с благородным рисунком дерева. Стены были светлее, чем он помнил, — видимо, мебель поглощала свет, и без неё комнаты казались шире и холоднее. В углу гостиной, там, где стоял диван, на полу осталась едва заметная вмятина — след двадцати лет на одном месте.

Двадцать лет.

Он прошёл в кухню.

Кухня была самой голой — здесь они делили даже мелочи, и теперь не осталось ничего, кроме встроенной техники, которая шла с домом и уходила к новым хозяевам. Пустые столешницы, пустые полки, чистая раковина. Он вспомнил, как они спорили об этой кухне, когда покупали дом, — она хотела остров посередине, он считал, что это неудобно и дорого, в конце концов они поставили остров, и он оказался удобным, и Джереми это признал, хотя и не сразу. Острова тоже не было — его забрала Паула, он попросил, чтобы не надо было, он не готовил и не собирался начинать.

Он вернулся в гостиную и подошёл к большому окну.

Отсюда был виден сад — ухоженный, с той же рукой, с которой Паула делала всё, что делала: терпеливо, без эффектных жестов, с вниманием к деталям, которое заметно только тогда, когда его нет. Газон был подстрижен, живая изгородь аккуратно выровнена, у дальнего забора стояли её любимые гортензии — синие, в полном цвету, несмотря на октябрьский холод. Она оставляла сад новым хозяевам в идеальном состоянии. Это было так похоже на неё, что у него перехватило горло на секунду — коротко, без слёз, просто перехватило и отпустило.

Он слышал, как подъехала её машина.

Пауза — она тоже, наверное, сидит и смотрит на дом через лобовое стекло. Он мог бы выйти навстречу, открыть дверь, но не вышел — остался у окна, смотреть на сад. Они оба знали, что им предстоит, и несколько минут тишины перед этим были, пожалуй, честными.

Он услышал её шаги на крыльце, потом звук ключа в замке — она тоже пришла с ключом, тоже в последний раз. Дверь открылась, и в прихожей раздался звук её шагов по голому паркету — другой звук, чем был всегда, когда здесь лежал ковёр, гулкий и чёткий, как шаги в церкви.

— Джереми, — сказала она из прихожей. Не вопросительно и не удивлённо — просто констатация: он здесь.

— В гостиной, — ответил он.

Она вошла.

Паула была в сером пальто и с зонтиком в руке — зонтик был мокрым, она закрыла его у двери, но не поставила в подставку, которой больше не было, просто держала в руке. Она остановилась на пороге гостиной и посмотрела на пустую комнату так же, как он смотрел несколько минут назад — тем же медленным взглядом, который обходит пространство по периметру и возвращается ни с чем. Потом посмотрела на него.

Она выглядела хорошо. Он каждый раз это думал, когда видел её в последние месяцы, после того как они приняли решение, — она выглядела лучше, чем в последние годы брака, чуть легче, что ли, как будто что-то перестало давить. Он не знал, обижаться на это или нет, и решил не обижаться.

— Ты рано приехал, — сказала она.

— Пробок не было.

Она кивнула. Он кивнул. Они стояли в пустой гостиной своего бывшего дома и смотрели друг на друга с той вежливой осторожностью, которая установилась между ними после разговора в феврале — того разговора, когда они наконец сказали вслух то, что оба знали уже несколько лет, и после которого стало, как ни странно, легче.

— Паркет красивый, — сказала Паула.

— Я не знал, что он такой, — ответил Джереми.

Она чуть улыбнулась — не широко, просто чуть — и прошла в комнату, встала рядом с ним у окна. Они смотрели на сад вместе, и дождь за стеклом становился чуть гуще, и гортензии за забором качались от ветра, синие и упрямые в своём октябрьском цветении.

— Гортензии будут цвести ещё недели две, — сказала она. — Я сказала агенту, чтобы предупредил новых хозяев: их не нужно трогать до ноября.

— Они послушают?

— Не знаю. Надеюсь.

Он мог бы сказать что-нибудь о том, что это уже не их дело — что новые хозяева сделают с садом что захотят, что гортензии больше не их забота. Он не сказал. Потому что это было бы правдой, но не всей правдой, а той её частью, которая режет без необходимости.

— Я привёз документы, — сказал он вместо этого. — Можем начать, когда будешь готова.

— Да, — сказала она. — Давай начнём.

Они отошли от окна и сели на подоконник — единственное место в комнате, где можно было сесть, потому что больше не было ничего. Это было немного нелепо — два взрослых человека, сидящих на подоконнике с папкой документов между ними — и в этой нелепости было что-то неожиданно человеческое, не укладывавшееся ни в какую смету.

Джереми открыл папку.

## Глава 2. Смета

Папка была толстой.

Джереми потратил на неё две недели — не потому что раздел имущества был сложным, они оба работали, у обоих было своё, пересечений оказалось меньше, чем он ожидал, — а потому что он не умел делать ничего впосилы, и если уж браться за документы, то так, чтобы всё было чисто, без хвостов, без вопросов, которые всплывут через год. Это был его способ совладать с тем, для чего не было другого инструмента: превратить в задачу, решить задачу, закрыть папку.

За двадцать лет она изучила этот механизм досконально: когда Джереми чего-то боялся или не знал, как поступить, он составлял документ. Бюджет на отпуск, план ремонта, сравнительная таблица пенсионных фондов — всё это появлялось в моменты, когда другой человек позвонил бы другу или просто посидел с этим в тишине. Она не считала это недостатком — просто особенностью, как его привычка есть суп, остудив его до комнатной температуры, или читать только бумажные книги, хотя у него было три электронных устройства. Просто черты, которые знаешь так хорошо, что перестаёшь их замечать, пока вдруг не окажешься на подоконнике пустого дома и не поймёшь, что больше не будешь их замечать никогда.

— Итак, — сказал Джереми и достал первый лист. — Счёт в Сити-банке закрыт, средства разделены согласно договорённости в августе. Брокерский счёт — я перевёл твою долю в пятницу, тебе должно было прийти подтверждение.

— Пришло, — сказала Паула.

— Хорошо. Дальше — загородный дом в Порт-Таунсенде. Здесь чуть сложнее, потому что ипотека ещё не закрыта, и нам нужно либо продавать сейчас, либо один из нас выкупает долю другого. Я подготовил оба варианта.

Он протянул ей лист. Паула взяла его, посмотрела — цифры, два столбца, аккуратные заголовки. Он всегда делал заголовки, даже в личных записях.

— Я думала об этом, — сказала она. — Я бы хотела сохранить Порт-Таунсенд.

Джереми кивнул. Он ожидал этого — она любила этот дом больше него, проводила там каждое лето, пока он оставался в городе с работой и обещаниями приехать на выходных, которые выполнял примерно в половине случаев.

— Тогда второй вариант, — сказал он. — Ты выкупаешь мою долю по оценочной стоимости, я выхожу из ипотеки. Банк дал предварительное согласие, нужно только твоё заявление.

— Хорошо.

— Я подготовил проект заявления, здесь.

Паула взяла его, прочитала, кивнула. Они сидели на подоконнике, и дождь за стеклом усиливался — уже не взвесь, а настоящий дождь, тихий и ровный, тот сиэтловский дождь, который не пугает и не раздражает, а просто является фоном, постоянным и привычным, как гул холодильника в ночной квартире.

— Машины, — продолжил Джереми. — Здесь всё просто, у каждого своя. Страховки уже переоформлены.

— Да.

— Пенсионные накопления — каждый сохраняет свои, мы об этом договорились в марте.

— Да.

Он листал страницы, она слушала, иногда кивала, иногда задавала короткий вопрос о сроках или налоговых последствиях — всё то, что нужно было уточнить и что не требовало ничего, кроме точного ответа. Они говорили как два человека, завершающих совместный проект — профессионально, без лишних слов, с тем взаимным уважением к чужому времени, которое вырабатывается в рабочих отношениях. Это было бы хорошим разговором, если бы они были партнёрами по бизнесу. Это было странным разговором, потому что они были мужем и женой.

Двадцать лет.

Джереми дошёл до последней страницы — сводная таблица, всё вместе, итоговые суммы, подписи внизу. Он достал ручку и расписался там, где было его место, потом протянул ручку Пауле. Она взяла её, поднесла к бумаге и остановилась.

Не надолго — секунды три, может, четыре. Просто держала ручку над строчкой для подписи и смотрела на неё. Потом расписалась — ровно, без нажима, своей обычной подписью, которую он знал так же хорошо, как знают что-то, что видели тысячи раз на совместных документах, совместных открытках, совместных списках покупок.

— Всё, — сказал он.

— Всё, — повторила она.

Она вернула ему ручку, он убрал подписанные листы обратно в папку и закрыл её. Папка лежала между ними на подоконнике, и за окном шёл дождь, и в пустой комнате не было ничего, кроме них двоих и этой папки и паркета с вмятиной от дивана в углу.

Пауза затянулась на несколько секунд дольше, чем должна была.

Джереми понял, что должен был сказать что-нибудь деловое — что-то про агента, про передачу ключей, про сроки. Он открыл рот и не сказал ничего делового, потому что в этот момент из кухни донёсся звук — тихий, совершенно конкретный звук: капля воды, упавшая с крана в пустую раковину. Один звук в абсолютно пустом доме, где больше нечему было его поглощать.

Паула услышала тоже. Он видел по тому, как она чуть повернула голову.

— Кран на кухне всегда капал, — сказала она.

— Я знаю. Я четыре раза вызывал сантехника.

— В марте прошлого года ты был в Чикаго, — сказала она. — Вызывала я.

— Тогда четыре, — согласился он.

Капля снова упала в раковину, гулко и отчётливо, и этот звук в пустом доме был непропорционально громким — как бывает громким всё, что остаётся, когда всё остальное уже унесли.

— Новые хозяева починят, — сказал Джереми.

— Или привыкнут, — сказала Паула.

Он посмотрел на неё. Она смотрела на папку с документами — не на него, на папку, и в её взгляде было что-то, что он не умел назвать точно, но узнавал: то выражение, которое появлялось у неё, когда она думала о чём-то одном, а говорила о другом.

— Паула, — сказал он.

— Да.

Он не продолжил сразу. За окном дождь усилился ещё немного, и сад стал размытым и тёмным, и гортензии за забором качались сильнее, и капля продолжала капать в кухне, методично и без остановки, как будто у неё было своё расписание.

— Нам нужно поговорить о подписке на стриминг, — сказал он наконец.

— Что? — сказала она.

— Совместная подписка. Netflix. Она оформлена на мою карту, но привязана к общему аккаунту. Нужно либо разделить, либо один из нас отписывается.

Она смотрела на него секунду, потом опустила взгляд обратно на папку.

— Хорошо, — сказала она ровно. — Отпишись. Я заведу свой.

— Хорошо.

Они снова замолчали.

Капля упала в раковину. Потом ещё одна. Потом ещё.

### **Глава 3. Мелочи**

Первой была подписка.

Потом — совместный аккаунт в аптечной сети, который они завели семь лет назад ради накопительных скидок и про который оба забыли до этой минуты. Джереми достал телефон и начал листать приложение, и они сидели рядом на подоконнике и смотрели на экран, на котором была история их совместных покупок за семь лет — детальная, безжалостная, в обратном хронологическом порядке, от последнего визита Паулы в августе к самому началу, к 2017 году, когда они ещё покупали одно и то же, потому что жили одной жизнью и не делили её на его и её.

— Здесь можно просто удалить один профиль, — сказал Джереми.

— Удали мой, — сказала Паула. — У меня карточка другой сети.

Он удалил. Это заняло тридцать секунд.

Потом была страховка на дом в Порт-Таунсенде — её нужно было переоформить на Паулу, и для этого требовался звонок в страховую, который она пообещала сделать сама на следующей неделе. Потом — совместный абонемент в спортивный клуб, который они брали каждый январь с намерением ходить регулярно и который оба использовали реже, чем собирались, по разным расписаниям, почти не пересекаясь даже там. Абонемент истекал в декабре, и они решили просто не продлевать — каждый сам.

Потом Джереми заглянул в список ещё раз и нашёл там кое-что, о чём не думал.

— Клуб любителей вина, — сказал он.

Паула посмотрела на него.

— Ящик в квартал, — продолжил он. — Итальянское, преимущественно. Оформлено на меня, доставка шла сюда.

Пауза.

— Я помню, — сказала она.

Он помнил тоже. Они записались туда на третий год брака — после поездки в Тоскану, которая была их лучшим совместным путешествием, единственным, когда они оба не торопились и не думали о работе и просто ездили из деревни в деревню и пили вино на закате и разговаривали о том, о чём не разговаривали дома. Клуб был идеей Паулы — попыткой привезти что-то от той поездки домой, сохранить что-то от того настроения. Джереми тогда согласился без энтузиазма, но потом привык, и каждый квартал, когда приходил ящик, он чувствовал что-то похожее на удовольствие, хотя никогда особенно это не выражал.

— Отменить? — спросил он.

— Или оставь себе, — сказала Паула. — Ты же пьёшь.

— Ты тоже.

— Я заведу свою подписку. Что-нибудь другое.

Он кивнул и отметил в телефоне — переоформить на себя. Это было практичное решение, единственно разумное — и он смотрел на эту пометку в телефоне и думал о том, что в следующий раз, когда придёт ящик, он откроет его один — просто ящик с вином, и ничего больше.

Паула встала с подоконника.

Она поставила сумку на пол и, не объясняя, вышла в коридор — он услышал, как её шаги пошли по лестнице вверх.

Он подождал несколько минут, потом тоже встал.

Он прошёл в кухню.

Кран капал — методично, раз в несколько секунд, каждая капля звучала отдельно и отчётливо в пустом пространстве. Джереми подошёл к раковине и попробовал завернуть кран плотнее — это помогло на несколько секунд, потом капля упала снова, и он оставил кран в покое, прислонившись к столешнице, глядя в окно над раковиной — в сад с задней стороны дома, где была деревянная терраса и яблоня, которую они посадили на пятый год и которая начала нормально плодоносить только на восьмой, и то не каждый год.

Он видел яблоки на дереве — небольшие, тёмно-красные, несколько штук ещё держались на ветках, остальные уже лежали в мокрой траве под деревом. Паула не успела их собрать до переезда, или не захотела, или решила оставить. Яблоки лежали в мокрой траве, и никто их не подберёт, и к зиме они сгниют, и это нормально, это то, что происходит с яблоками, которые не собирают.

Он услышал её шаги на лестнице — она спускалась.

Паула вошла в кухню и остановилась на пороге, глядя на него у раковины. Он не знал, как долго она стояла наверху — несколько минут, не больше, но что-то в её лице изменилось, стало чуть менее сосредоточенным, чуть менее деловым, как будто наверху, в пустых комнатах, она оставила что-то, что несла всё утро.

— Яблоки, — сказала она, посмотрев в окно.

— Я вижу.

— Я хотела собрать. Не успела.

— Ничего.

— Знаю, что ничего. — Она помолчала. — Просто жалко.

Он не ответил, потому что не знал, что ответить, и потому что она, кажется, не ждала ответа. Она подошла к окну и встала рядом с ним, и они смотрели на яблоню вместе, как смотрели много раз из этого окна — на снег, на весенние цветы соседского сада, на грозу, на ту августовскую ночь несколько лет назад, когда было северное сияние, неожиданное и почти невозможное для этих широт, и они стояли здесь и смотрели на него молча, и это был один из тех редких моментов, когда между ними не было расстояния.

— Помнишь северное сияние? — спросила она.

— Помню. Две тысячи девятнадцатый.

— Это было красиво, — сказала она. Не с тоской — просто как факт, как запись в архиве: это было красиво, это было, это существовало.

— Да.

Они стояли у окна ещё минуту, потом Паула отошла и начала открывать шкафчики — один за другим, методично, проверяя, не осталось ли чего-нибудь. В большинстве шкафчиков было пусто, но в самом дальнем, в углу над холодильником, куда никто никогда не залезал без стремянки, она нашла две кружки.

Она вытащила их и поставила на столешницу.

Джереми посмотрел на кружки.

Он помнил их — большие, тёмно-синие, с белыми буквами «UW» — Вашингтонский университет, они купили их на каком-то университетском мероприятии лет пятнадцать назад, и кружки каким-то образом пережили несколько переездов и реорганизаций кухонного шкафа и осели в этом верхнем углу, откуда их никто не доставал, потому что неудобно, и не выбрасывал, потому что незачем.

— Я не знала, что они здесь, — сказала Паула.

— Я тоже.

Она взяла одну кружку в руки и посмотрела на неё — просто посмотрела, с тем выражением, с которым смотрят на найденную вещь, которую давно считали потерянной и уже не искали.

— Что с ними делать? — спросила она.

Это был простой вопрос о двух кружках, и он требовал простого ответа — возьми себе, или выбрось, или отдай в благотворительность. Но в пустом доме, где единственными звуками были дождь за окном и капающий кран, этот вопрос прозвучал иначе, весомее, чем должен был прозвучать вопрос о кружках.

Джереми взял вторую кружку.

— Возьмём по одной, — сказал он.

Паула посмотрела на него — коротко, чуть удивлённо, как будто не ожидала именно этого ответа. Потом кивнула.

— Хорошо.

Они стояли на кухне, каждый со своей синей кружкой в руке, и дождь шёл за окном, и кран капал, и яблоки лежали в мокрой траве под деревом в саду, и в этой сцене было что-то настолько обыденное и настолько невозможное одновременно, что Джереми почувствовал то же лёгкое головокружение, что и в начале, у рододендрона, — только теперь оно было другим, не тревожным, а каким-то почти освобождающим, как бывает, когда долго держишь что-то тяжёлое и наконец ставишь на землю.

— Джереми, — сказала она.

— Что?

— Оставь библиотеку, — сказала она. — Просто на минуту.

Он оставил библиотеку.

За окном дождь продолжал идти — ровный, терпеливый, сиэтловский.

#### **Глава 4. Гулкость**

Звуки пустого дома были отдельным явлением.

Джереми понял это, когда поднялся на второй этаж — не сразу вслед за Паулой, а минут через десять, после того как она спустилась и они постояли у окна и поговорили о северном сиянии и о яблоках. Он поднялся просто потому что хотел пройтись сам, посмотреть в последний раз, и уже на лестнице почувствовал, что дом звучит иначе, чем звучал, когда был жилым. Не тише и не громче — иначе, с другим качеством звука, как бывает в концертном зале до того, как пришла публика: пространство то же, акустика та же, но без людей и вещей звук не поглощается, а отражается, и каждый шаг, каждый скрип половицы, каждый порыв ветра за окном приобретает объём и отчётливость, которых не было раньше.

В коридоре второго этажа остался единственный ковёр — узкий, тёмно-бордовый, купленный в антикварной лавке в Портленде на третий год после переезда в этот дом, и он лежал здесь с тех пор, немного вытертый посередине там, где ходили чаще всего. Джереми остановился и посмотрел на эту вытертую полосу — след двадцати лет ежедневного движения по одному и тому же маршруту, из спальни в ванную и обратно, туда и обратно, пока ворс не истёрся до основы. Он подумал, что новые хозяева, скорее всего, выбросят этот ковёр в первую неделю, и это было нормально, это было их право, просто он стоял и смотрел на вытертую полосу и думал о том, сколько утр она видела.

Он зашёл в их бывшую спальню.

Здесь была самая сильная пустота — не потому что комната была большой, а потому что именно здесь отсутствие вещей ощущалось острее всего. Там, где стояла их кровать, на полу остались четыре небольших углубления — следы от ножек, вдавленные в паркет за двадцать лет. Он смотрел на эти четыре точки и думал о том, что они точнее любого документа обозначают, где именно проходила их жизнь — не в каком городе, не в каком доме, а вот здесь, в этом прямоугольнике между четырьмя точками на полу.

Окно спальни выходило на улицу, и дождь бил в стекло чуть сильнее, чем на кухне, — там была защита навеса, здесь ничего. Джереми подошёл к окну и посмотрел на улицу: мокрый асфальт, голые ветви клёна напротив, его машина на подъездной дорожке и рядом — её машина, серая, чуть меньше его, с той царапиной на заднем бампере, которую она сделала два года назад на парковке торгового центра и про которую говорила, что обязательно починит, но так и не починила. Он смотрел на эту царапину и чувствовал что-то, чему не мог подобрать точного названия, — не нежность и не жалость, что-то среднее между ними, что-то, что бывает, когда знаешь о человеке такие мелкие, ненужные, совершенно частные вещи, которые никто больше не знает.

Он вернулся в коридор и заглянул в комнату, которую они называли кабинетом, хотя по-настоящему кабинетом она никогда не была — скорее складом намерений: стол, который оба собирались использовать для работы дома и почти не использовали, книжные полки, которые были полны в первые годы и постепенно пустели по мере того, как книги переезжали в другие комнаты или раздавались или просто исчезали. Полки он забрал, стол она, и теперь комната была совсем пустой — голые стены, окно с видом на соседский забор, крюк на потолке, где висела лампа, которую они сняли год назад, потому что она перегорела, и так и не повесили новую.

Крюк на потолке.

Он смотрел на этот крюк и думал о том, что это один из тех маленьких невыполненных планов, которые накапливаются в любом долгом совместном быту — новая лампа, починенный кран, собранные яблоки, разговор, который откладывается на потом. Не потому что лень или безразличие, а просто потому что жизнь идёт, и всегда есть что-то более срочное, и крюк на потолке ждёт, и кран капает, и яблоки зреют, и разговор откладывается, пока однажды не оказывается, что его уже некуда откладывать.

Он спустился вниз.

Паула стояла в гостиной у противоположной стены — там, где раньше висели картины, и где теперь была только белая стена с прямоугольниками чуть более тёмных обоев там, где картины висели и защищали поверхность от выгорания. Она смотрела на эти прямоугольники — их было шесть, разных размеров, расставленных не симметрично, а так, как они вешали их постепенно, по мере того как картины появлялись: сначала большая в центре, потом две поменьше по бокам, потом ещё три, которые некуда было деть после одной из поездок.

— Я не думала, что будут следы, — сказала она, не оборачиваясь.

— От картин всегда остаются следы, — сказал он.

Она помолчала, разглядывая прямоугольники.

— Новые хозяева перекрасят.

— Наверное.

— Или повесят свои картины прямо вверх.

Он подошёл и встал рядом с ней. Они смотрели на белую стену с тёмными прямоугольниками, и дождь за окном усилился ещё немного, и в пустой гостиной его звук стал объёмнее, многослойнее — он бил в окна с разных сторон по-разному, и это создавало что-то похожее на музыку, если прислушаться, хотя Джереми не был уверен, что это правильное слово.

— Помнишь акварель с маяком? — спросила она.

— Которую ты купила в Астории.

— Ты тогда сказал, что она слишком сентиментальная.

— Я был неправ, — сказал он.

Она обернулась и посмотрела на него — коротко, с тем выражением лёгкого удивления, которое он видел сегодня уже второй раз, когда говорил что-то не то, что она ожидала услышать. Он не знал, хорошо ли это или плохо — говорить неожиданное жене, с которой прожил двадцать лет, — и решил, что это просто факт, такой же конкретный, как паркет под ними и дождь за окном.

— Где она теперь? — спросил он.

— В Фремонте. В коридоре.

— Хорошо, — сказал он, и это «хорошо» означало не одобрение и не безразличие, а что-то точнее — что-то вроде: правильно, что она у тебя, она твоя, она всегда была твоей, я просто не говорил этого достаточно часто.

Пауза растянулась, и в этой паузе дом продолжал звучать — кран на кухне, дождь в окна, ветер в трубе, скрип чего-то деревянного где-то наверху, что всегда скрипело и что они давно перестали замечать. Все эти звуки, которые двадцать лет поглощались жизнью внутри — разговорами, телевизором, музыкой, шагами по коврам, звоном посуды, — теперь были слышны отдельно, каждый сам по себе, чистые и неприкрытые, как бывает чистым и неприкрытым то, что остаётся, когда снять всё поверхностное.

— Джереми, — сказала Паула.

Он посмотрел на неё.

Она не смотрела на него — смотрела на стену с прямоугольниками, и в её голосе было что-то, что он слышал редко: не та деловая ровность последних месяцев и не та усталая дистанция последних лет, а что-то более раннее, более настоящее, из тех первых лет, когда они ещё не выработали все свои защитные механизмы и говорили прямо, потому что не умели иначе.

— Я хочу поговорить, — сказала она. — Не о документах.

Он не ответил сразу — просто стоял рядом и ждал, и дождь шёл за окном, и дом звучал вокруг них всеми своими обнажёнными звуками, и прямоугольники на стене смотрели на них с той невозмутимостью, с которой смотрят следы вещей, которых больше нет, но которые были достаточно долго, чтобы оставить отпечаток.

— Я слушаю, — сказал он.

## **Глава 5. Честный разговор**

Она начала не сразу.

Сначала они переместились с подоконника на пол — не сговариваясь, просто в какой-то момент стоять у стены стало неудобно, и Паула опустилась на паркет, прислонившись спиной к стене под прямоугольниками от картин, и Джереми сел рядом, на некотором расстоянии, не

вплотную, но достаточно близко, чтобы говорить нормально. Это тоже было немного нелепо — двое взрослых людей, сидящих на полу пустой гостиной, — и эта нелепость почему-то делала разговор возможным, снимала что-то, что мешало бы, если бы они сидели за столом или стояли друг напротив друга в официальных позах.

За окном дождь шёл ровно и без остановки.

— Я думала об этом всё лето, — сказала Паула. — О том, что мы сделали не так. Не чтобы найти виноватого — просто хотела понять.

— И поняла?

Она помолчала, глядя на пустую комнату перед собой.

— Я думаю, мы оба делали всё правильно, — сказала она наконец. — Вот в чём проблема. Мы оба были правильными, оба были порядочными, оба старались. Просто мы старались в разные стороны, и это выяснилось слишком поздно, когда уже было столько правильных усилий потрачено, что останавливаться казалось расточительством.

Джереми слушал и думал о том, что она формулирует точнее, чем он мог бы, — она всегда умела это, находить слово для того, что он чувствовал, но не мог назвать. Он думал об этом и одновременно о том, что это умение он никогда ей не говорил — что она умеет находить слова.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.